

КАФКАЗУС

2010

Если бы господин К. страдал географией и знал о существовании Кавказа, он бы наверняка включил его в свой ПРОЦЕСС.

Нырнуть в море Каспийское, а вынырнуть на берегу Черного. Назад – пешком по суше. Вот тебе и кругосветное путешествие.

Дорога

УЗКАЯ ТРОПА ВЕДЕТ ВВЕРХ.

Ведет извилисто и хитро.

То скользит по краю холодающей воображение пропасти, то с трудом продирается сквозь пугающие акустикой лесные дебри.

Страшно произнести даже слово – содрогнешься от собственного эха.

Потому я иду, дав вынужденный обет молчания.

В любую погоду.

В любом настроении.

Не испытывая усталости и не задавая себе бестолково-мучительных вопросов: куда и зачем?

Спасибо редким встречным: они хоть и поглядывают на меня с удивлением, а иногда с подозрением, в улыбке все же не отказывают.

Интуиция, видимо, им подсказывает, что случайных людей в горах не бывает.

А коль человек, пусть и пришлый, забрался сюда – на то воля Божья.

Наверное, поэтому никто меня не останавливает.

Не беспокоит.

И ничего не навязывает.

В горах – не на равнине.

В горах уважают чужую свободу.

Причем не меньше, нежели свою.

Так что, если сам душу не откроешь, никто в нее лезть не станет.

В горах особое представление о приличии, терпимости и табу.

Это чувствуется даже при мимолевой встрече.

И чем ближе к небу, тем отчетливее.

УЗКАЯ ТРОПА ВЕДЕТ ВВЕРХ.

Ведет по известной только ей траектории.

Но не к какой-то поставленной цели.

Наоборот, от всего конкретного, постулатного тропа меня уводит.

Освобождая от идей и замыслов прошлого.

Не напоминая ни о чем, что осталось там, на суетливой равнине.

И я ощущаю, как постепенно становлюсь частью пейзажа, который у меня на глазах превращается из блылых фантазий в явь.

Кавказ налево.

Кавказ направо.

Шаг за шагом, будто мысль за мыслью.

Похоже, я зашел слишком далеко.

Потому что вдруг осознаю: Кавказ – во мне.

С его слепящими снегами и горячей кровью.

С его неискупленными грехами, любовью, вспылчивым нравом.

Вот она, граница между всеми ранее накопленными знаниями и еще неизведанным.

Вот он – нулевой километр вечности.

Одновременно камень и дух мироздания.

Остается только сделать глубокий вдох и раскрыть во всю ширь свои объятия.

Но как объять необъятное?

Или хотя бы его осмыслить?

Предо мной – великая «Мольба»!

Непревзойденная полнометражная истина!

С ее божественно-дьявольскими образами.

С монотонными пшавеловскими стихами.

Я торжественно даю себе слово больше никогда не бояться высоты и не оглядываться назад.

Ведь я нашел то, что искал так долго.

Что видел до сих пор только на экране.

Отныне облака – моя новая страсть.

Отныне я могу прислушиваться не только к себе, но и к Вселенной.

Однако неожиданно ловлю себя на мысли, что у доносящегося со всех сторон утомленного пения одна и та же мелодия, тогда как слова намешаны из разных и совсем непохожих языков.

Я замираю.

Пытаюсь разобраться в звуках.

Но от путаного вавилонского разноязычия начинает кружиться голова.

В какой-то момент я понимаю, что общая мелодия – это еще не общая песня.

А упавшая кавказским хребтом общая великая Башня – отнюдь не общая история.

Не существует вечной дружбы хотя бы без капли вечной вражды.

И даже одна капля способна разрушить самый прочный земной камень.

УЗКАЯ ТРОПА ВЕДЕТ ВВЕРХ.

Ведет с уверенностью правильно выбранного пути.

День сменяется ночью.

Любопытство – смирением.

Бледная луна с провалившихся небес укоризненно смотрит на все происходящее внизу.

Уж она-то наверняка знает, что у каждого народа свои слова к песне, а значит, свой смысл и своя собственная истина.

Истины одной на всех не бывает.

Единственной, неповторимой ее признают только на родной земле.

И искренне она звучит только на родном ей языке и с родной интонацией.

Это подтверждает эхо шумных застолий.

Более веского доказательства, наверное, и не требуется.

Хотя чем больше таких доказательств, тем меньше шансов в каждое из них поверить.

Я смотрю на луну и не смею ей возразить.

Я – нем.

И беспомощен.

«Мольба» реальная тут же гаснет, вновь превращаясь в черно-белое кино.

Как жаль, что она была лишь миражом.

Оказывается, великое искусство – ничто по сравнению с людским разноязычным хором.

Но разочарование длится недолго.

Под натиском фантазий оно отступает.

От облаков я заряжаюсь энергией.

И меня уже ничто не может остановить.

Потому что обратного вектора в горах нет.

Как нет в горах и прошедшего времени.

Переведа дух, я продолжаю путь.

И думаю только о нем.

Каким бы далеким и бескомпромиссным он ни выдался.

В надежде на новые откровения.

А может, и новые оправдания.

Кто знает, вдруг луна поделится со мной и другими своими тайнами.

О которых раньше почему-то молчала.

Я протягиваю ей руку.

Признавая ее право на вечность, я верю в ее одушевленность.

Осознавая ее неговорчивость и скрытность, я надеюсь на ее благожелательность.

Теперь мне есть с кем дружить.

И чем дорожить.

Ничего, что человеческая жизнь для нее лишь скоротечный фарс.

Постараюсь успеть.

УЗКАЯ ТРОПА ВЕДЕТ ВВЕРХ.

Ведет, упрямо наматывая круг за кругом.

Будто ввинчивает меня в небо.

Солнце

Толпы возбужденных тамагочи стекаются к центральной площади.

Толпы оставивших свои убежища мужчин и женщин занимают оборону.

Но это лишь уловка.

Маневр.

А баррикады – декор.

На деле народ рвется в атаку.

Народ устал от бездействия.

У каждого в сердце пожар, и кажется, что пламя вот-вот вырвется наружу.

Предчувствие грандиозных событий не только крепко сжимает кулаки, но и не дает покоя воображению.

Тамагочи больше не хотят жить по-старому.

Сегодня они всей нацией ринулись к рубежу новому.

И ничем их не испугать.

В воздухе запахло не только порохом, но и славой.

Все видят себя отличными в бронзе.

Все мечтают быть воспетыми в гимнах.

Даже лучшие умы – типичные интеллигенты, пьяницы и флегматики – перестали по-детски ныть и без умолку философствовать.

Теперь и они готовы сменить никчемные застольные монологи на поступки.

Жизнь обрела незапятнанное знамя.

Жизнь поменялась прямо на глазах.

Столица впервые за многие века засверкала гляncем типографских красок.

Тротуары устланы листовками.

Стены домов обклеены плакатами.

С невозмутимыми лицами народных лидеров.

С цитатами-хитами из зачитанных собраний дедов и прадедов.

Сегодня предки вновь вдохновляют.

А их былые подвиги, как никогда, востребованы.

Вот лучшие образцы для подражания.

Никто не смеет сегодня отступить.

Ничье сердце не может сегодня солгать.

Настал час, которого тамагочи ждали всю свою затянувшуюся историю.

Колокол ударил.

Паства перекрестилась.

Страна проснулась.

Эта новость молниеносно разлетается по свету.

Правительства и парламенты, не ведавшие до сих пор о существовании в космосе столь экзотической звездочки, шлют срочные поздравительные телеграммы.
Их переполняет сострадание.
На них нисходит добродетель.
Они хотят подбодрить младших братьев.
И заодно поскорее принять их в свою систему координат.
Разве не в этом вселенский долг старших?
Высокие мировые чины с азартом включаются в необычную астрономическую игру и не скулятся на дипломатический сахар.
Который тут же на площади растворяется и щедро разливается из всех громкоговорителей.
Самолеты с тайными и явными советниками немедленно взлетают на подмогу.
Без них не обходится ни одна эволюция.
И уж тем более ни одна контрэволюция.
Невидимая дирижерская палочка быстро находит своего залетного маэстро.
Площадь наполняется пением.
Пение чередуется с танцами.
Концерт только с виду обыкновенный.
По сути же, это жертвоприношение.
Апофеоз проснувшегося национального духа.
Артисты в костюмах едва успевают сменять друг друга.
Сразу после выступления пополняя ряды затаивших дыхание эволюционеров.
Такому спектаклю позавидовал бы сам Образцов.
А тут еще зрительный зал – весь мир.
К полуночи интрига расплзается по тускло освещенным улицам и переулкам.
Даже окраины приходят в движение.
Мир взволнован.
Без экстренных включений с места событий не обходится ни один выпуск worldnews.
Микрофоны орут.
Камеры бдят.
Корреспонденты потеют от напряжения.
Еще бы!
Велика ответственность перед историей.
Велика вероятность войти в историю.
Меня же сия почетная участь миновала.
Я слежу за происходящим по телевизору.
За тридцать земель от реальности.
Лежа в постели.

С огромным кульком безвкусных сухарей, от которых уже сводит скулы.
Я тоже переживаю за судьбу тамагочи.
Но переживаю зря.
Сегодня они в центре внимания.
Сегодня они под присмотром искусных магов и разных почетных мэтров.
А значит, обречены на победу.
Нация окончательно потеряла сон.
И есть от чего.
Нация нашла себя.
Кнопка от пульта будто застыла на одном канале.
Улыбка Лидера постоянно крупным планом.
Интервью на английском, интервью на французском.
Пару слов на своем, экзотическом.
Заученная импровизация.
Отработанная жестикуляция.
В окружении смеющихся соратников – то ли по созданной на скорую руку партии, то ли по последней ночной party.
Толпа, перебивая собственное эхо, в полный голос ревет: «Свобода, свобода!».
Остальных слов не разобрать.
Да они и не столь важны.
Толпа на грани нервного срыва.
Тысячи одновременно открывающихся ртов на фоне реющих флагов – масштабное зрелище.
Даже на экране старенького четырнадцатидюймового телевизора.
Так утверждается хоровое единство всех тамагочи.
Так рождаются новые вечные ценности.
Старые тут же приходят в негодность.
Куранты над площадью, как образ всего безвозвратно ушедшего, замирают.
Все вокруг переводят стрелки часов.
Время менять кумиров и спонсоров.
К трибуне, будто из-за кулис, неожиданно подкатывает грузовик с живыми цветами.
Раздают всем желающим.
Раздают как оружие.
Эволюция приобретает размах.
Запах.
И цвет.
Эволюцию не остановить.
Комментатор в моем телевизоре что-то бубнит на иностранном языке.
Без пауз.

Без страсти.
И хоть какого-то интереса.
Похоже, все происходящее в далекой неизвестной стране его не волнует.
Или он мало что понимает.
А может, ему просто хочется спать.
Как и мне.
Скоро рассвет.
Кулек с сухарями пустеет.
Скомканный бумажный мяч летит точно в урну.
Три очка!
Я выключаю телевизор.
И тут же зарываюсь под одеяло.
Под неутраченный в голове гул песен и назойливых речей я мгновенно теряю сознание.
Подсознание же не дремлет.
Подсознание продолжает жить игрой, понятной лишь ему одному.
Мне снятся герои нескончаемой трансляции.
С их навязчивым артистизмом.
И неумной энергией.
Будильник неожиданно нажимает на стоп-кадр.
Сквозь сон я читаю заголовки газет.
Репортеры промучились ночь не зря.
Что ни заголовок, то крик души.
Что ни снимок, то вырванное из толпы лицо обретшего свободу.
Отныне тамагочи надоело быть просто игрушкой.
Кормить и пеленать себя – теперь его суверенное право.
Мне же сегодня, похоже, выпастись не удастся.
Надо обзвонить всех, вдруг кто не видел этого красочного ночного шоу.
Вдруг кто-то отстал от жизни.
Я набираю первый попавшийся номер.
Но передумываю и кладу трубку.
Я замечаю на стене яркую полоску света.
И... принимаю ее за некий знак свыше.
В мыслях происходит переворот.
Во мне оживают чувства.
Я настезь открываю окно.
Я вызываю на себя новый день.
Да здравствует серебристая прохлада!
Да здравствует свежий ветер!
История подождет.
Какое счастье возвращаться иногда на землю.
С ВОСХОДОМ СОЛНЦА ВАС, БРАТЯ ПО РАЗУМУ!

Море

Авлабар, по сути, стихия водная.
Хотя с виду – каменная.
«Море хочу, море!!!»
Кричали все, у кого не было моря.
Кричали, свистели, хлопали в ладоши.
Самые отчаянные топали ногами.
Самые нервные вскакивали с мест.
Похвастаться морем не мог никто.
Чужих в зрительном зале не было.
Вот почему к морю рвались все.
И вместе, и по отдельности.
С одинаковой злостью и воодушевлением.
На редкость с одинаковым выражением лица.
Всем хотелось лично поучаствовать в четырехактовой театральной фантазмагории.
Превратить прошлое в настоящее.
Желаемое – в действительное.
Тайное патристическое – в доступное географическое.
По рассказам предков все знали, что давным-давно у них было все.
И море (о, море!), в том числе.
Поэтому не стоило удивляться происходящему.
Атмосфера в театре на Авлабаре напоминала «Девятый Вал» Айвазовского.
Сцена и зал сливались в экстазе.
А спрессованное временем инакомыслие освободилось наконец от комплексов и страхов.
Больше никому не нужно было притворяться и лгать самому себе.
Артистам тоже.
Какое, к черту, искусство, когда кипит кровь!
Когда так и тянет взяться за ружье.
И навсегда разобратся с вековыми врагами, когда-то отнявшими море.
Правда, поначалу пьеса развивалась довольно уныло, в духе мыльного жанра.
Ни в чем не противореча ни преданиям, ни системе Станиславского.
Взрыв прогремел в эпизоде, в котором десятилетний ребенок, он же будущий царь, неожиданно вырвался из рук купающей прислуги, и его принялась ловить добрая половина всего актерского состава.
Юное создание металось по скрипящему деревянному подиуму, оставляя за собой мокрые следы.

При этом с детской непосредственностью и прямотой озвучивая выстраданную ущербленными столетиями главную национальную идею.
Он протягивал руки вверх, к Богу.
Он обращался за помощью к зрителям.
Он отказывался смиряться.
Таза ему было явно маловато.
И по годам, и по происхождению.
Он требовал моря.
Настоящего моря.
Хотя о существовании его знал лишь со слов тех, кто сам его никогда не видел.
Во всяком случае, на родной географической карте.
Ну как можно было оставаться безучастным к этой разыгравшейся трагедии?
Рев продолжался два с половиной часа.
Два с половиной часа авлабарская Земля вращалась в обратную сторону.
Не желая останавливаться.
Не желая никому подчиняться.
Назло всем соседям и вопреки так называемому здравому смыслу.
Казалось, вот-вот произойдет землетрясение.
И стены рухнут.
Но на сей раз Бог сжалился над людьми.
Простив им их шум и ярость.
Списав все на стечение художественных обстоятельств и магию театра.
Он, как никто иной, понимал суть происходящего.
И сочувствовал всем собравшимся.
Ведь театр – всегда провокация.
Провокация – всегда театр.
Для воображения, в первую очередь.
Только театр позволяет увидеть на сцене то, что даже во сне не приснится.
Именно поэтому он столь необходим зрителю – чтобы надежда умирала последней.
Но еще лучше, чтобы не умирала вовсе.
Переходя от режиссера к режиссеру.
От постановки к постановке.
От поколения к поколению.
А там – кто знает?
Может, когда-то и родится тот предводитель-фокусник, который однажды вновь одарит авлабарских землян морем.
Пока же роль фокусника взял на себя театр.

За что зрители благодарили его не только шквалистыми аплодисментами, но и слезами.
Несомненно, премьера удалась.
Накричались вдоволь.
Намечтались тоже.
Однако мечтать – не воевать.
Слава Богу, до серьезного порыва овладеть морем дело не дошло.
Наваждение оказалось временным.
По крайней мере, после столь лихой премьеры шумиха потихоньку улеглась.
Хотя горячие призывы звучали.
Да еще какие.
И не только из зала.
Но власти и критика сделали вид, будто ничего крамольного не услышали.
Спектакль все в один голос назвали драматической импровизацией.
Творческим поиском.
А иначе быть не могло.
Все критики, как и чиновники, давно куплены.
Все моря давно поделены.
И никому не придет в голову расстаться даже с каплей соленой собственности.
Будь то во славу человеческого братства.
Или во имя торжества справедливого материализма.
ИСТОРИЯ ЧАСТО НЕ В ЛАДАХ С ЛОГИКОЙ.
И уж тем более с географией.
Конечно, обидно не иметь моря, когда у всех вокруг оно есть.
Которое, кстати, было и у тебя.
Обидно, ох, как обидно.
И вряд ли эта обида когда-нибудь пройдет.
Вот почему впереди – новые премьеры.
Новые сценические сюрпризы.
Новые зрительские волнения.
Аншлаг обеспечен на сотни лет вперед.
И никуда от этого не деться.
Потому что Авлабар, в первую очередь, стихия водная.
А значит, непредсказуемая и коварная.
Так что не обольщайтесь те, кому она кажется со стороны каменной.
То есть неуклюжей и терпеливой.
Скромные желтоватые афиши – тому подтверждение.
Театру под силу низвергнуть любой памятник и опровергнуть любую летопись.

И неважно, как сие потом назовут: оригинальной
конструкцией или талантливой фальшивкой под видом
художественной реконструкции.
В истории все места святы и пустыми им не быть.
Режиссеры об этом позаботятся.
Фантазии у них достаточно.
Да и наглости не занимать.
Не верите?
И я не верил.
Но один художник соблазнил меня лишним билетиком.
Море – ÜBER ALLES.

Небо

КОНЕЧНО, РЕВОЛЮЦИЯ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ,
НО ОНА ВСЕ-ТАКИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНОЕ
ГОРМОНАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО.
И в ней все происходит по зову сердца – от группового
подпольного знакомства до группового восхождения на
эшафот.
Да и эпилог у нее всегда один и тот же – воплощенное в
камне вечное признание потомков, которое можно отыс-
кать в каждой постколониальной стране, в каждом мало-
мальски уважающем себя городе.
И, как следствие, в каждом местном путеводителе.
Комиссары востребованы везде и во все времена.
Без них как во тьме.
Они – земные боги своих эпох.
Хотя нередко – их неизбежные рабы и жертвы.
Где-то их было 26, где-то в кожанках маршировали
целые батальоны, а где-то и сурового одиночки хватало
с избытком.
Впрочем, число комиссаров, их национальность и вера
особого значения не имеют.
Независимо от арифметики, группы крови и фасона
головного убора они неизменно добиваются похожего
диалектического результата.
И в созидании.
И в разрушении.
И просто в беспорядочной стрельбе.
С их подвигами ассоциируются не только конкретные
даты, но и целые города.
Я во многих из них бывал.
Я полюбил их.
Я любил в них.
Но один – более других мне мил и дорог.
Какая там икра!

Ковры!
А бани!
Город-мираж.
Город-обольститель.
Город-факир.
С первого же взгляда он пленяет своим воздушным
пряным колдовством.
Он увлекает за собой в нирвану.
Втягивая и твою душу, и твоё тело в идиллическую
симфонию запахов, форм и размеров.
До сих пор удивляюсь, как мне удалось когда-то
вырваться из его объятий.
Да и зачем я это сделал?
К тому же, по собственной воле.
Ведь я мог купаться в своем восточном счастье до
бесконечности.
По ночам от воспоминаний бросает в жар.
Так и тянет туда опять.
Я готов раскататься.
Готов вернуться.
В мраморное царство сладостей.
В гости к святому Валентину в бордовой феске.
Вот где знают толк в удовольствиях!
Вот где горячо дышит любовью и каждый.
Причем революционные страсти страстям телесным не
помеха.
Скорее, наоборот, они придают мыслям смелости, а
чувствам пикантности.
Они – часть местного колорита.
Продолжение национального духа.
И естественный повод для общения.
Как естественно в этом городе все, на какую улицу ни
загляни.
Почти все женщины привлекают своей словно затянутой
корсетом талией.
И игриво раскачивают бедрами при ходьбе.
Почти все мужчины не без гордости позируют с
кинжалом в руках.
И взахлеб рассказывают байки о многочисленных
героях-родственников.
Восхищаясь как бы заодно и парой эпизодов из личной
храбрости.
Вот почему первое свидание – на площади у главного
революционного монумента.
Первая фотография на память – там же.
Или в Национальном музее.

Или на помпезной аллее Славы, в тени декоративно плачущих деревьев.
Такой памяти в моем жадном мозгу накопилось на многие мегабайты.
И в минуты усталости или скуки есть чем потешить свое воображение.
Но одних воспоминаний порой становится мало.
Душа и тело постоянно требуют новых историй.
А значит, и новых внутренних озарений.
Труба зовет.
Зовет прямо на передовую.
Хочется вновь неспешно пройти по местам давних интриг и приключений.
Хочется выпить крепкого черного чая в открытом кафе на набережной, в окружении лениво гуляющих, подобно голубям, гламурных бездельников.
Хочется вновь прикоснуться ко всему рукой и обласкать всех взглядом.
И вот однажды я возвращаюсь в этот волшебный мир, изнемогающий от солнца и несмолкающего нытья древних теснифов.
Чтобы перезагрузить память и убедиться в неизбежности тамошних соблазнов.
Революция и любовь хоть и не синонимы, тем не менее по силе эмоций и драматических развязок они друг другу не уступают.
Поэтому не надо искать между ними антагонизма или противоречий.
Наоборот, нередко они сплетаются в земной символ гармонии.
Я преклоняюсь перед этим сочетанием.
Я снимаю шляпу перед моим любимым городом.
И возлагаю к его ногам венки.
Из слов, цветов и придыханий.
Мне правда нравится город-комиссар на берегу зеленого пенистого моря.
На фоне вылинявшего от страстей неба.
Город усатых джентльменов, потных красавиц и ароматной сырой нефти.
Город, в котором здравствуют выпуклогородные близнецы – Сам[э]д, Мам[э]д и Ахм[э]д.
Уже в самолете я начинаю выпивать за их чугунное борцовское здоровье.
За их олимпийскую хватку.
И чемпионский выдох.
Бутылка терпкого шампанского – вот и вся продолжительность полета.

А через несколько часов я опять оказываюсь в ласковых объятиях морского бриза.
В своем почти родном кафе.
В окружении, как мне кажется, все тех же довольных собой и жизнью физиономий.
«Один чай, пожалуйста, и покрепче!»
Официант молчалив, но, по обычаю, улыбчив.
Вприкуску – особая церемония.
А то, что немного вяжет во рту, ничего.
Так всегда после долгого воздержания.
Я расслабляюсь.
Я увлекаюсь.
Вечер на берегу – это больше, чем просто смена палитры на закате дня.
Соль.
Сахар.
Блаженство.

Застолье

ВИНО ЛЬЕТСЯ.
Льется звучно.
Стереофонично.
Из десятков кувшинов одновременно.
Напоминая маленькие горные водопады.
Эхом ворвавшиеся в нетопленный школьный спортивный зал вместе с праздником.
За растянутым по периметру столом народу с полторы сотни.
В основном мужчины.
В основном небритые.
Все в теплых куртках.
И никто не торопится их расстегивать.
Средь горных вершин нынешний сентябрь напоминает, скорее, обозленный ноябрь.
Но разве такая погодная нелепость может повлиять на застольную боеготовность?
Все в хорошем настроении, хотя и не при параде.
Все в предвкушении пира.
О котором, протрезвев, можно будет раструбить на весь мир.
Есть дни, когда равнодушие не имеет права на существование.
Праздник и панихида – из тех.
Сегодня – черед праздника.
Хотя и с оттенками панихиды.

Обжигающее дыхание полутора сотен горцев быстро разогревает пространство.

А подвешенный на гимнастических кольцах помятый национальный флаг и несколько икон на подоконниках восполняют недостающую торжественность.

ВИНО ЛЬЕТСЯ.

Льется вызывающе.

Нарочито.

Через край кавказской щедрости.

На грани благого человеческого разумия.

Тамада не дает перевести дух.

Затягивая тугую петлю на горле терпения бесконечными тостами.

Патриотизму под дружные крики «гаумарджос» сегодня нет альтернативы.

Как нет эстетской альтернативы застольному обычаю – переворачивать опустевшие стаканы.

Причем все стараются сделать это размашисто и раньше остальных.

Чтобы продемонстрировать свое пускай и маленькое, но все же превосходство.

А заодно оправдать высокое звание патриота.

Любовь к Родине набирает градус.

Любовь к Родине выправляет курс.

И накрахмаленное белое скатерть-полотно постепенно превращается в словно пропитанную свежей кровью перевязочную ткань.

Несмотря на то, что праздник сегодня мирный, чаще всего говорят о последней войне.

О безмянных героях.

О якобы ожесточенных сражениях.

Подтверждая и опровергая слухи.

Вспоминая душераздирающие онлайнновские картинки с телевизионного экрана.

Тему же личного участия все деликатно избегают.

Ни солдат, ни добровольцев за этим огромным столом не оказывается.

Уберечь себя от войны – это тоже искусство.

Впрочем, как и умение говорить о чужих подвигах будто о своих собственных.

Все пьют стоя.

И я пью стоя.

Все пьют за Победу.

И я пью за их Победу.

Случайных людей в спортзале нет.

Я – в одиночестве.

Вопросов не задаю.

Сомнений вслух не выражаю.

Тем не менее застольная кротость меня не спасает, когда тамада предлагает тост за гостя.

За неприметного человека, о существовании которого он до сегодняшнего вечера и понятия не имел.

Это, правда, особый тост.

Жгучая смесь гостеприимства, лести и воинственного романтизма.

«За здоровье нашего самого доброго, самого честного, самого смелого друга!»

О, если б можно было сию минуту заткнуть уши!

Мне даже предлагается, точнее, доверяется, взять в руки оружие.

И встать на защиту их Родины.

Но я делаю вид, что не слышу этих слов.

Я не знаю, что сказать в ответ.

На Кавказе зыбка и переменчива не только погода.

Отношения между целыми народами природе там ни в чем не уступают.

Сегодня – объятия, завтра – вражда.

И наоборот.

Так что совсем не хочется вникать и уж тем более встречать в чьи-то междоусобицы.

И все же, приняв похвалу тамады за часть ритуала, я благодарю за доверие и вливаю в себя положенный литровый рог вина.

После одобрительных выкриков всякое внимание ко мне сразу ослабевает.

Меня вычеркивают из списка.

Обо мне забывают.

Тамада же продолжает мучить остальных.

Под любимыми предложениями.

И с той же почти поэтической навязчивостью.

Причем с каждым новым монологом его речь становится все сбивчивее.

А ее смысл все путаннее.

Ореол главаря стола безнадежно меркнет.

Превращаясь в обыкновенное пьяное высокомерие.

Не более.

И никто из присутствующих не в состоянии остановить этот естественный процесс.

ВИНО ЛЬЕТСЯ.

Переливается.

То ли по традиции.

То ли по инерции.

Но чувствуется, что уже из последних сил.

Судя по воспаленным, онемевшим лицам пьющих, оно уже не доставляет им удовольствие.
Это похоже, скорее, на испытание.
Уши устали внимать призывам.
Руки устали поднимать стаканы.
Никто больше не смотрит на тамаду как на маленького вождя.
Забыв не только обо всех его тостах, но и о самом поводе для торжества.
Каждый замыкается в себе.
В собственных пьяных фантазиях.
Праздник спускается все ниже с горных высот.
Праздник ретируется.
Теряя в застольном хаосе свою первозданную образность и величие.
Наполовину гаснет свет.
Гул стихает.
Флаг блекнет.
Кто-то пытается затянуть песню.
Грустную.
Скорбную.
Поминальную.
Но его хватает лишь на один куплет.
Бессилие остальных его останавливает.
Увы, разговоры о войне всегда отнимают слишком много энергии.
Особенно бравурные.
А может, просто вино оказалось на сей раз крепче обычного.
ПРАЗДНИК ШЕПЧЕТ ОТБОЙ.
ПРАЗДНИК ЗАСТЫВАЕТ.
ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ.
В УГАСАЮЩЕМ ЗВОНЕ ГРАНЕНОГО СТЕКЛА.

Гора

Если гора не идет к Магомету, то разъяренный Магомет сам идет к горе.
Чтобы взять ее приступом и водрузить на вершине свою искривленную в полумесяц саблю.
От Магомета, как и от его бритоголовых янычар, можно ждать любого экспромта.
Любой импровизации.
Любого телодвижения.
И всегда с фатальным исходом.
Его претензии – все стороны света.
Его величие – в бесконечности.

На лице Магомета не бывает добрых масок.
Потому никто из соседей в глаза ему последний раз не заглядывает.
Уж кто-кто, а они-то знают, что может выйти из этого любопытства.
Можно не только испугаться.
Но и обжечься.
Так все и живут.
Уже который век.
Как в нескончаемом сериале.
В ожидании новых экспромтов.
Новых поражений.
Новых обид.
Предпочитая постоянно изображать комично-фальшивое миролюбие и воевать с Магометом виртуально – мифами, песнями, танцами.
На худой конец, апелляциями к Всевышнему, истории и чужим парламентам.
Бесчисленные ежедневные проклятия, не отличающиеся разнообразием, не в счет.
Их энергетика близка к нулю.
Как и их эффективность.
На этом сопротивление заканчивается.
Вот он и весь реванш.
Вот он и весь кураж.
Смелость отказывается брать города.
Даже свои бывшие.
Смелость сдала позиции.
Похоже, навечно.
Можно найти объяснение всему.
Но кому станет от этого легче?
Никто не хочет римейков прошлых драм.
Чтобы не потерять последнее.
Мало ли что еще приглянется ненасытному Магомету, и он, как и в гору, вонзит свою саблю в очередной лакомый кусок.
К влекущим северным пейзажам злой гений особенно неравнодушен.
И дело не столько в их красотах.
С севера веет таинством.
Север дышит свежестью.
Там, за горой, прозрачнее вода и слаще виноград.
Да и кровь там быстрее впитывается в землю.
Что не раз уже было проверено.
И еще не раз проверено будет.
Все равно потом все спишется на историю.
А может, и вообще забудется.

Тогда как заповедные места останутся под нещадной властью полумесяца навечно, заняв достойное место в разделе природоведения.
И ничего, что безлюдные.
Оттого они смотрятся еще лиричнее.
Еще трогательнее.
Музей под открытым небом.
На многие сотни километров.
Причем у Магомета не только завидный боевой дух.
Но и отменный художественный вкус.
Все завоевания это подтверждают.
Гора – жемчужина его коллекции.
И он плевать хотел на то, что некогда она принадлежала кому-то другому.
Что была для кого-то подобием иконы.
Хотя почему была?
Есть!
И будет!
Среди врожденных супротивников янычар еще остались патриоты-оптимисты.
И в первую очередь, те, кто наперекор всему считает гору родной.
Они не признают уроков новой географии.
Наивно презирая всех, кто их признает.
Они не перестают лить слезы и молятся в древних григорианских церквах.
Ненависть предательские пророчества и чудачества.
Постоянно напоминая о своем горе Богу.
Потому что гора – их суть.
Гора – их прыть.
Гора – их всё.
Не только в высоком национальном, но и в банальном повседневном смысле.
И в качестве доказательства не надо ничего придумывать или выискивать.
Достаточно пройтись по улицам их розовокаменных городов и деревень.
На многих вывесках и просто этикетках эта гордость запротokolирована.
Включая подгузники, спортивные игры и ликероводочные изыски.
Куда уж убедительнее.
Дети, азарт, коньяк – святое.
Да и с точки зрения эстетики не придрачься.
Впрочем, на разноцветные художества внимание можно не обращать.
ГОРА – совершенство.

Все остальное – к ней приложение.
От политики до эротики.
Опровергнуть невозможно.
Ни логикой.
Ни действительностью.
Ни янычарами.
Царствие небесное Рубику.
Пары суматошных дней, проведенных с ним, мне хватило, чтобы воочию убедиться в том, о чем я раньше только слышал.
Утренний вид на Арарат из его ереванской квартиры на пятом этаже развеял все мои сомнения.
Мне повезло.
Как может повезти дотошному туристу, который с детства привык фотографировать не столько аппаратом, сколько собственными глазами.
Туман, будто по заказу, рассеялся.
А солнце еще не успело ослепить пространство и исполняло роль боковой подсветки.
Это было зрелище.
Самого высокого разрешения.
Это было всем доказательствам доказательство.
Злые сказки про янычар сразу же забылись.
И даже грозный Магомет без остатка растворился в моих восторгах.
Я простоял у открытого окна не менее часа.
Забыв про завтрак.
И обо всех наших планах на день.
Я не мог оторваться.
На меня из плена смотрел невозмутимый заснеженный красавец.
Точь-в-точь как на этикетках.
Прав был утонченный Рубик, когда называл альпинизм самым притягательным видом спорта.
Красавец воинстину обладал гипнотическим взглядом.
Мое почтение.
Мое согласие.
Ну как отказаться от такого соблазна?

Храм

«Католики после службы раздают макароны».
«По две пачки в руки».
Слух по городу разлетелся за ночь.
С утра пораньше вдохновенная и переполненная годной слюной толпа повалила в католичество.
Смотря на дождь.

Длинную очередь.
И уже почти утраченную мечту о сытом будущем.
Сердобольная Польша не скупилась на посылки.
Ей, Посполитой, самой хотелось скорее выбраться из болота униженных и оскорбленных.
Но для этого нужно было реанимировать свою давно померкшую гордыню.
И хоть над кем-то взять шефство.
Замаливая старые безбожные грехи, потомки Коперника пытались подняться в собственных глазах и заодно в глазах других.
Чтобы наконец-то показать недоступному им до сих пор миру истинно посполитый нрав.
Шанс выпал.
Далекая страна с ее извечными, не прекращающимися поисками и затаившимися неудачами, словно хорошая примета, подвернулась кстати.
Благотворительное количество посылок скоро переросло в католическое качество.
А почти нежные пасторские благословения и холодные улыбки – в надежду.
Макаронами на скудном обеденном столе стали вполне доступным блюдом и одновременно занесенным северо-западным ветром буревестником возрождения.
Макаронами ели целыми семьями.
На завтрак, обед, ужин.
Цельми семьями разучивали новые молитвы, новые гимны, новые здравницы.
Разучивали как музыку.
И слух не изменял.
Получалось.
Отныне мимо еще вчера родных православных церквей и церквушек многие проходили без привычного пафоса и волнения.
Не утруждая себя воспоминанием о Боге.
Иногда даже опустив голову.
Чтобы случайно не выказать своего непонятно откуда взявшегося высокомерия.
Жизнь менялась на глазах.
А вместе с ней возрастали и претензии к самой жизни.
Всего за несколько месяцев Его Святейшество Илия II стал для большинства любителей макарон простым смертным Ираклием.
Он уже не был в фаворе.
И не вдохновлял на добродетель.

Тогда как разноцветные календари с видом на площадь святого Петра нередко можно было встретить в домах католиков-дебютантов.
Для таких вера перестала быть догмой.
Она стала руководством к выживанию.
Тем более что было кому на деле подсказать, подбодрить и направить.
Вездесущая Польша не скупилась не только на макароны, но и на священников.
Которые засылались к макаронам в придачу.
В приталено-расклеванных платяках.
С приплюснутыми шапчонками на макушке.
Розовощекие славяне в расцвете лет старались проявлять лучшие духовные и рыцарские качества.
Перед ними расступались.
Ими восхищались.
На их гениальные мысли ссылались.
Истинные крестоносцы.
Но на сей раз без оружия.
Они же – певцы-стихотворцы.
Знающие цену своему ангельскому слогу.
При этом славили Всевышнего с еще большим восторгом и усердием, нежели делали это у себя на родине.
И толпа им смиренно вторила.
Ладным хором.
Жадным взглядом.
Будто до сих пор ничего не слышала ни о Боге, ни о слове Божьем.
Любовь и иллюзии стали капля по капле возвращаться в оскудевшие сердца.
Ассоциируясь теперь с хладнокровными пришельцами, которые во всем походили на образцовых учителей.
По субботам Папе Войтыле, наверное, крепко икалось в отполированном до голубого блеска Ватикане от избытка благодарности свежепризанного пополнения.
Макаронами оказались чудотворным яством.
Лояльность и харизма миссионеров – спасением.
Однако польская инициатива не осталась без внимания многочисленных соседей.
У нее появились последователи.
И не менее богатые конкуренты.
Оказывается, не только дурной, но и самый праведный пример достоин подражания.
Мусульмане, приревновав надменных поляков, решили перещеголять католиков и пообещали завозить рис без перебоев, эшелонами.

Спонсоры объявились тут же.
«Очередь на обрезание сможет побить все рекорды», – поделится со мной то ли в шутку, то ли всерьез один из заезжих турков.
Впрочем, обрезание – не отрезание.
Бывало в истории и похуже.
Тифлис на своем веку многое повидал.
Многое стерпел.
Хотя многое уже забыл.
И виной всему... подарки.
Которые в его судьбе всегда играли решающую роль.
Подарки обезболивают память.
Чем они щедрее, тем наркоз эффективнее.
Сила воли перед шприцем отступает.
И все же город еще находится в сознании.
Хоронить его рано.
Он по-прежнему прекрасен.
И при солнце.
И при луне.
Невзирая на погоду.
Даже мрачную.
Вид с моста Бараташвили – тому подтверждение.
Впрочем, подтвердить это мог бы и сам вечно юный поэт.
Задумчиво застывший на черном постаменте рядом, в нескольких шагах.
Строгий.
Грациозный.
Загадочный.
Ну, правда, Байрон.
Сегодня он сурово наблюдал, как над обмелевшей Курой мечется сорвавшийся с цепи воздушный змей.
«Прими, прими мою любовь...»
И слова эти, словно вырванные из сердца, отдавались эхом в небесах.
Тифлис примет любовь от всех.
Тифлис себе не изменит.
И никому не откажет.
Таким его знает мир.
С открытыми всегда объятиями.
С обольстительным взглядом.
Таким его создал Бог.
И другим его трудно представить.
Хотя зачем ему быть другим?
В том нет ни надобности, ни пользы.
Да и все остальные образы уже запатентованы.
Каждый выбирает свой путь к храму.

И кто сказал, что он должен быть прямым.
Или безгрешным.
У каждого свое представление о счастье, несчастье и правоте Божьей.
Все зависит от человеческой сути.
Потому что суть, как к ней ни относишься, есть величина постоянная.
А макароны с рисом, по большому счету, лишь гарнир к ней.
АЛЛИЛУЙЯ!
АЛЛАХ АКБАР!

Базар

Если азербайджанец изо всех сил кричит, значит, он хочет что-то продать.
Не важно что.
Не важно сколько.
А иногда и не важно за сколько.
Крик не позволяет отвлекаться на детали.
Потому что крик этот – символ воображаемого величия и богатства.
По продолжительности и широте диапазона он сродни нескончаемой оратории.
Без которой трудно, а то и вообще невозможно представить себе среднеисторического азербайджанца.
Кричать, так кричать.
Пронзительно и громко.
Чтобы перекричать всех вокруг.
Продавать, так продавать.
Что попадет под руку.
Что успеть разбогатеть до захода солнца и очастливить свое семейство.
Вот когда из кавказской души вырывается национальное ВСЁ.
Намеренно и случайно.
С нюансами и без.
Вот когда все как один – смуглые, хваткие, коренастые – не стесняясь, проявляют свой буйный талантище.
Оптом.
В розницу.
Радуйся любому лишнему гяпику.
И нет более подходящей арены для этого горячего самовыражения, чем базар.
Характер – понятие не личностное.
Характер навязан предками.

Человечество все никак не избавится от власти наследственности.

И едва ли ему когда-нибудь это удастся.

Базар – доказательство.

Столь эксцентричное и трескучее столпотворение я наблюдал впервые.

Включенная кинокамера на моем плече наблюдала синхронно со мной.

И никого не удивляло появление странного неместного персонажа, мотавшего головой налево-направо, будто искавшего кого-то в толпе.

Я передвигался, не выбирая направления.

Становясь естественной частицей хаоса.

Я копировал на пленку неведомый для меня мир.

И делал это без нарочитости, художественных излишеств и пристрастия.

Пытаясь во всем, до мелочей, этот взбудораженный мир прочувствовать.

АКАПЕЛЛО, УЛЕТАЮЩЕЕ К НЕБУ.

ХЛЮПАЮЩЕЕ ЭХО В ПОЛУДЕННОЙ ДЫМКЕ
РАСКАЛЕННОГО СОЛНЦА.

На каждом пыльном клочке иссохшей земли – отдельная передвижная декорация.

Рядом с каждой кучкой овощей и фруктов – свой настырный Карузо или своя навязчивая Кабалье.

Готовые сразить тебя резкими перепадами музыкального настроения.

А заодно – доходящей порой до абсурда неземной дешевизной.

Где еще встретишь такую смесь щедрости и вокальной стихии?

Даже не верится, что это происходит в одном месте и в одно время.

И принадлежит одному народу.

Сколько продавцов, столько арий.

Сколько покупателей, столько слушателей.

И хотя с виду одушевленная картина кажется сплошной импровизацией, на слух она воспринимается трепетной гармонией, попытка нарушить которую равносильна вмешательству в чужую жизнь.

Только попробуй обойти кого-то из солистов вниманием!

Горящий взгляд тебе вслед гарантирован.

А может, и злобная абракадабра в придачу.

Страсть – понятие не личностное.

Страсть навязана предками.

Достаточно понаблюдать за совсем юными продавцами-певцами.

Они ни в чем не уступают старшим.

Даже в гримасах и жестикуляциях.

Даже в быстроте устного счета.

И все, будто рожденные одной матерью, друг на друга похожи.

Носятся они, как правило, стаями.

Стаями же облюбовывают и какую-нибудь площадку.

Камера все подробно фиксирует.

Камера не щадит никого.

Стараясь не упустить ни одного образа.

Потому что любой из них может пригодиться.

Если не для телевизионного эфира, то, по крайней мере, в качестве матрицы для воображения.

Каждый ракурс, каждый кадр убеждает меня в том, что либретто в этих плодоносных краях испокон веков не менялось.

И еще многие века не изменится.

Потому что базар – не только искусство крика.

И не только среда обитания.

БАЗАР – НЕПОКОЛЕБИМО ВЕЧНАЯ ВОСТОЧНАЯ
КОНСТИТУЦИЯ.

Ниоткуда не списанная.

Ни с чего не слепленная.

Так устроена их жизнь.

И никакая сила – ни мирская, ни высшая – не посмеет покуситься на сию святость.

НЕТ ПУТИ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕЛ БЫ
АЗЕРБАЙДЖАНЦА К БАЗАРУ.

Как нет азербайджанца, который бы на этом пути заблудился.

Интуиция не подведет.

Ведь она тоже досталась в наследство.

И по наследству перейдет поколениям следующим.

Так что у прошлого здесь, как ни у одного народа в округе, прочное статус-кво.

И крик здесь никогда не иссякнет.

Если же азербайджанец вдруг замолкает, значит, он все уже продал.

Наступают счастливые минуты – выворачивать набитые карманы и считать деньги.

А потом не раз их пересчитывать.

Ничто не может отвлечь его от этого сладостного, почти ритуального занятия.

Все заботы сразу окупаются.

И даже самые несбыточные мечты становятся вдруг на шаг ближе.
Значит, день прожит не зря.
Значит, не зря кипели эмоции и надрывались голосовые связки.
Вместе с сумерками землю обволакивает тишина.
После чего опускается тяжелый темный занавес, выключается камера.
Звон монет плавно переходит в заунывную жалобную музыку.
А яркий полумесяц – в сияние Бога.
Эпилог.
Время расслабиться.
И как тут не побаловаться заманчивой сухой травкой!
В ближайшей уютной забегаловке.
Под усеянным блестящими осколками небом.
Мне не скучно в компании проголодавшихся за день торговцев.
Меня принимают за своего.
А потому от меня ничего не скрывают.
И даже со мной делятся.
Всего пара глубоких затыжек и...
Я улетаю к звездам.
В районе Млечного пути у меня появляется случайный попутчик.
Со смущенной улыбкой.
И с туго набитым косячком в руке.
Мы понимаем друг друга без слов.
Да здравствует экспромт!
И его ни с чем не сравнимый аромат.
Наверное, это и есть рай по-восточному.
Главная АРЕНА нации тем временем берет тайм-аут до утра.
Точнее, до первого утреннего крика.
Я же исчезаю до следующего года.
Не живется мне без идей и маний.
Без рискованных путешествий и головокружительных ощущений.
Когда-то я ведь должен встретить Ашик-Кериба.

Дудук

«Кто придумал солнце?
Тот, кто придумал и дождь.
Кто придумал радость?
Тот, кто придумал и боль».

Процессия жирной ленивой гусеницей вытягивается из-за угла.
Заставляя все встречные машины тормозить и робко прижиматься к тротуару.
На время превращая ведущую в гору городскую улицу в сцену.
Цветами усыпан каждый дорожный камень.
До отказа заполнен жалостливыми зрителями крутой поворот-амфитеатр.
Вид – хоть кино снимай.
Причем серьезное.
И непременно игровое.
Интрига застает меня врасплох.
Затмевает все личное.
Оккупирует внимание.
И без чьей-либо подсказки сразу не разобрать, что же в происходящем первично: сотрясающие небеса женские крики, завывающая музыка или утопающая в этой странной какофонии людская скорбь.
То ли высокая эллинская трагедия, то ли курехинская поп-механика.
А может, одно другое дополняет.
Смешение жанров подобно смешению крови.
Хотя совсем не важно, у какого из них весомее заслуги перед искусством.
В десятке метров от меня четыре экзальтированные плакальщицы, прирожденные артистки, превосходят всех остальных.
Волосы растрепаны.
Глаза навькате.
И голоса нанятые страдалицы насколько позволяют им связки, без намека на хрипоту.
Отсутствия же слез никто не замечает.
Они подразумеваются.
А этого уже достаточно.
Убеждает.
И поклонники античной классики, и любители нервного сценического эксперимента вряд ли возразят, что живая человеческая трагедия даст фору любой постановке.
Реальность происходящего без виз и препон худсовета пересекает границы воображения.
Захлестывает неподдельными эмоциями.
Смерть – она и есть смерть.
Независимо от количества венков и черных лент.
Она касается всех.
Даже тех, кого формально не касается.

Именно поэтому она присутствует буквально в каждой мизансцене.
Впечатляет с любого ракурса.
И кажется, только вокруг нее люди способны объединяться.
Смерть до споров о жанрах не опускается.
У нее нет оппонентов.
Она сама по себе жанр.
И чем дальше, тем сильнее он меня захватывает.
Из «действующих лиц» не вычеркнуть никого.
Зеваки.
Родственники.
Покойник.
Ни к одной ремарке не придраться.
Молитвы.
Речитативы.
Всхлипы.
Все играет на пределе актерского мастерства.
По-другому не получается.
Все играет как в первый раз.
Обряд – не форма.
Обряд – атмосфера.
ЭКСТАЗ.
– Кого хоронят? – тихо спрашивает пожилой зевака.
– Музыканта, – еще тише отвечает другой.
– А на чем играл?
– Молодого?
Народ шепчется.
Народ волнуется.
Пытается узнать хоть что-то об усопшем.
И когда, в конце концов, узнает, обреченно вздыхает.
Вздых как запоздавшее признание.
Почти прощальное напутствие.
После него все мысли и чувства теряют смысл.
Неожиданно гусеница останавливается.
Гроб опускается на землю.
Все замирают.
Но безмолвие длится лишь секунды.
Музыка открывает новое действие.
Дудук взрывается.
И вместе с ним преобразается вся улица.
Уныние сменяется страстью.
А черный цвет вопреки всем канонам траура теряет свою магическую силу.
Кажется, что на сцене становится еще суетливее и многолюднее.
Но мой разум проявляет терпение.

Смиряется.
И больше не перечит реальности.
Женщины, сбившись в кучку, яростно хлопают.
А мужчины, крепко обнявшись за плечи, танцуют вокруг открытого гроба.
Даже среди тех, кто стоит рядом со мной, ощущается оживление.
С чужих слов в такое трудно поверить.
Такое нужно видеть.
Кольцо вокруг гроба то сжимается, то разжимается.
Движения отточены и синхронны.
Этот танец напоминает свадебный.
Вот только в роли невесты сейчас выступает сама смерть.
Любовь – прощение.
Любовь – прощение.
И тут я замечаю первые слезы.
Они просто текут по маскам и лицам, и никто их не вытирает.
Через несколько минут плачут уже все.
Актеры.
Танцоры.
Зрители.
Плачут родные и совсем посторонние.
Я даже слышу, как музыка захлебывается от волнения.
Дудук сдается последним.
Дудук начинает хрипеть.
От попадающих в него слез музыканта.
Звуки удаляются, а я продолжаю их слышать.
Они замолкают, а я не могу их забыть.
Нет... это не напевы горного ручья.

«Кто протянет мне руку,
Когда рассеется над долиной туман?
Кто сыграет мне любимую мелодию,
Чтобы я вновь вдохнул аромат цветущего абрикоса?»

Мечь

ОН ЛЕЖИТ.
Рядом с постаментом.
На безжалостно истоптанной клумбе.
Весь исхлестанный белой краской.
И никто из прохожих не бросает в его сторону даже беглого взгляда.
Свергнутый.
Бесславный.

Одинокий.
С затынутой петлей на шее.
Будто великан-самоубийца, которого отказались отпеть
и забыли похоронить.
Он лежит уже четвертый день.
Уткнувшись лицом в грязь.
Приговоренный к небытию.
И никого уже не впечатляют его громкие регалии и
былые заслуги.
Даже его самого.
Даже любителей хронологии и статистики.
Вот бы вернуть время хотя бы на пару войн или военных
парадов назад.
Разве мог он, стоя на трибуне, представить таким свой
земной финал?
Разжалованный.
И непрощенный.
Как прокаженный.
Лежащий в тоскливом ожидании подъемного крана и
грузовика.
Представляющий отныне ценность только для
плавильной печи.
Звезды, оказывается, тоже лгут.
На потребу истории, в том числе.
Лгут и не несут никакой ответственности.
Ни перед сильными, ни перед слабыми.
Ни перед живыми, ни перед мертвыми.
ОН ЛЕЖИТ.
Я прохожу мимо этой площади каждое утро, и картина
впрямь кажется застывшей.
Как на незаконченном холсте.
Для которого не хватило краски.
Видимо, победители все еще продолжают наслаждаться
недозревшими плодами своего мятежного творчества в
наспех захваченных кабинетах.
Забыв про улицу.
А наслаждаться действительно есть чем, ведь они за
одну короткую ночь превратили давнюю кровную
ненависть в исторический итог.
И сейчас наверняка громко спорят между собой, кто из
них внес больший вклад в победу над врагом.
О грядущем они пока лишь философствуют.
С умным видом и бокалом в руке.
Давая волю фантазиям.
Мифам.
И политическим хитростям.

Для них гораздо важнее утвердиться в своем эгоизме и
показать миру свои способности, в которых они сами
совсем недавно сомневались.
А кое-кто вообще в себя не верил.
Потому ролик с беспризорно валяющимся на земле
бывшим бронзовым богом крутят на телеканалах по
нескольку раз на день.
Под издевательски веселую музыку.
С язвительно насмешливыми комментариями разного
рода клоунов.
Чтобы довести и без того «уторевшего» конформиста-
обывателя до полного отращения.
Такова эстетика революции.
Только так можно наглядно убедить всех в своем
цивилизационном превосходстве.
Только так можно по-настоящему отомстить не столько
конкретному памятнику, сколько целой эпохе.
А заодно добавить в национальный календарь еще один
праздник.
На сей раз уже в свою честь.
ОН ЛЕЖИТ.
Просто груды.
Просто металла.
И не понимает, что больше никогда к его ногам не
принесут цветы.
Теперь те же люди с тем же трепетом и холопством
будут возлагать венки и букеты к другим ногам, которые
скоро столь же уверенно, на ширине плеч, встанут на
освободившееся святое место.
Долго ждать не придется.
Кандидатура подобрана.
Альтернативы отвергнуты.
Да и Всевышний в поддержке не откажет.
Так что за скульптором дело не станет.
ОН ЛЕЖИТ.
ЕГО ВРЕМЯ ПРОШЛО.
Во всяком случае, на этой маленькой площади.
Этого маленького города.
Этой маленькой, но, как она любит себя величать, очень
гордой страны.
Его судьбу решили в одночасье, не оставив ни шанса на
оправдание.
Да и кому оно нужно.
Если никто даже в обвинениях не разобрался.
Даже сами обвинители.
Революция – процесс всегда ускоренный.
Поэтому и результат у нее всегда оптимальный.

Неожиданно сойдя с ума, все в панике и без оглядки рванули в будущее.

Все спешно взялись переводить с чужих языков уставы, подправлять свои биографии и родство.

Народ не способен жить без фетиша.

И готов лепить его из любого материала.

Даже из боли.

Лишь бы блестело и сверкало.

Лишь бы гарантировало сытый желудок и маломальскую выгоду.

Народ любит на развалинах давать новые клятвы.

Забывая о старых.

Без жалости, угрызений и ответственности сравнивая с землей свое прошлое.

Он не замечает, как превращается в обыкновенную злобную толпу.

У которой за душой нет ничего, кроме численного превосходства.

И которая, путаясь в своих инстинктах, порой сладкое принимает за горькое.

Впрочем, толпу отличает не только отсутствие разума, меры и вкуса.

Самое прискорбное: у нее нет памяти.

Память присуща личности.

Память – молекула вечности.

ПАМЯТЬ КАК ПАПЕРТЬ.

Возвышает.

И над пахлавой.

И над аджикой.

И над собой.

Башня

Девичья – по названию.

Женская – по округлостям.

Мужская – по характеру.

Эклектична, но не парадоксальна.

Привлекательна и без излишеств.

А наяву выглядит не хуже, чем на плакатах в дорогих гостиницах для иностранцев.

Визитная карточка города.

Хотя, может, и всей нации.

Если взять и уплотнить нацию до одного конкретного образа.

Или до одного-единственного плаката.

Время по-своему отнеслось к шаху.

Стерев из памяти все его державные подвиги, оно сохранило башню.

Необычную.

Неприступную.

Чуть высокомерную.

Сохранило в том виде, в каком ее и построил шах, прославившийся не только архитектурным чутьем, но и сумасбродным нравом.

Он не терпел возражений ни в чем.

И не испытывал жалости даже к ближнему.

Будучи по своей странной природе чуждым подобным проявлениям слабости.

Именно в построенную у моря башню разозленный шах спрятал собственную дочь, отказавшуюся выйти за него замуж.

Каприз властителя оказался сильнее родительского инстинкта.

И жестче людских обычаев.

Но безумию все же пришлось отступить.

Шахская страсть, как и обещанные сокровища, остались не востребованными.

Естество восторжествовало.

Отстояв подаренную Господом детскую гордость и непорочность.

Заточение продлилось недолго.

Как недолго длились и сомнения.

Двадцать восемь метров полета стали для строптивого создания спасением и одновременно последними мгновениями жизни.

Глядя на башню с берега, даже спустя века, можно почти с уверенностью сказать, что наверняка такой и была душещипательная развязка.

От башни веет неопровержимым, соленым, словно морская вода, роком.

Впрочем, печальный конец древней сказки придает несостоявшемуся инцесту хоть и жестокой, но все же романтичности.

Окутывая башню ореолом восточной таинственности и наива.

Превращая ее в национальный фольклор, слепленный из серого известняка.

Башня, правда, производит впечатление.

Даже на тех, кто равнодушен к столь помпезному роду искусства.

Причем внутри самой башни это впечатление ничуть не меньше, чем со стороны, на расстоянии.

Ты поднимаешься.

Ступенька за ступенькой.
Превозмогая лень, усталость и занудность гида.
Ты всматриваешься в каждую заштукатуренную рану-трещину, в каждый камень.
Боясь пропустить что-нибудь важное или символичное.
И когда уже кажется, что ноги твои вот-вот обессилят, когда терпение иссякает, ты вдруг прорываешься из полумрака наружу.
К самому синему небу.
В эти минуты оно принадлежит только тебе!
Твоим объятиям.
И твоему воображению.
Наверное, это и есть наивысшее ощущение власти и вседозволенности.
Достаточно подставить лицо ветру.
Взмахнуть руками.
Как ты мгновенно превращаешься в чайку.
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЧЕЛОВЕК НЕ НАУЧИТСЯ ЛЕТАТЬ, ОН БУДЕТ СТРОИТЬ БАШНИ.
И совсем не важно, кому припишут авторство дотошные потомки: зодчему-авангардисту или тирану-педофилу.
Округлости, выступы, изгибы – второстепенно.
Главное – невесомость.
Среди парящих птиц и дышится по-другому.
И земля смотрится по-другому.
Инсталляция – жанр космический.
Вот он – истинный финал пути, ради которого стоило делать первый шаг.
Вот оно – торжество души, освободившейся, наконец, от назойливости тела.
При этом нет никакой уверенности, что когда-нибудь они воссоединятся вновь.
Да, у каждого народа есть своя БАШНЯ.
Со своей историей.
Со своими историями.
Народов много, башен тоже.
И тянутся к ним не только толпы туристов.
Изнуренные суетой, моралью или несчастной любовью, местные одиночки тоже иногда взбираются на опасные рукотворные вершины.
Они бросают вызов вселенной.
Они подолгу прощаются с горизонтом.
Они мучаются.
Они колеблются.
Но однажды решаются.
Выбор их трудно оспорить.

И нужно отдать им должное: выбирают они самое эстетское прощание с миром.
Сказки время от времени повторяются.
А зачастую даже сбываются.
Вот и получается, что ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ЛЕТАТЬ И БЕЗ КРЫЛЬЕВ.
Правда, всего раз.
Первый и последний.
Но неправда, что недолго.
Это – полет в вечность.
От несчастья – к счастью.
От смерти – к жизни.
Девичья башня может лично каждый подобный полет подтвердить.
Такова ее судьба.
Быть еще и памятником.

Интеллигентные господа из ЮНЕСКО выражают этой громадине свое особое почтение.
Всевозможными гербами.
Печатами.
Высокопарно казенными словами.
Еще они гарантируют ей охрану.
С 2000-го года.
Плюс немного денег.
На ремонт.
И поддержание имиджа.
Не столько во славу шаха.
Но... все же... спасибо шаху.

Крепость

Позволить замуровать себя в стену.
На глазах у собственной матери.
Без жалости изгнать из себя душу.
Под вопли обезумевшей толпы.
Иначе каменная стена под натиском врагов не выстоит.
А вместе с ней рухнет и надежда.
Вот тогда уже ничто не спасет нацию.
Вырежут всех до последнего.
Выжгут все, что поддается пламени.
И даже о мести можно будет навсегда забыть.
Страх срубает волю под корень.
Срывает тормоза.
Толпа мечется из стороны в сторону.
Полная ужасов и предчувствий.

Толпа готова на любую жертву, на любой подвиг, на любой абсурд.
Лишь бы угодить всем тайным силам сразу.
Паника затмевает человеческий разум.
Именно она правит бал.
Будто ниспослана свыше.
Чтобы срежиссировать этот мрачный, апокалиптический спектакль.
Непродолжительный сценический сумбур обрывается, сменяясь молчанием.
И в этот момент чей-то указательный палец, ненадолго застав в воздухе, выносит беззвучный, но окончательный приговор.
Выбор падает на самого светлого, самого чистого и непорочного.
Причем никто не сомневается, что за выбором стоит сам Господь.
Не сомневается и мать.
Опустив голову, скрестив на груди руки, она смиренно, без права на помилование, принимает решение толпы, а значит, и Господа.
Она без слез прощается со своим единственным сыном, который на ее глазах становится отроком-спасителем.
Национальной гордостью.
Национальной вечностью.
В считанные мгновения вокруг юноши смыкается плотное живое кольцо.
Каждый норовит напоследок прикоснуться к Божьему избраннику.
Словно к кумиру.
В любой трагедии живет гормон фарса.
В любом зрителе всегда таится предатель.
Переодетого прямо на площади в белые одежды, его ведут как на казнь.
Впрочем, это и есть казнь.
Несмотря на избыток пафоса.
Жалости.
И любви.
Внешне сие действие ничем не напоминает о героизме, достойном бессрочной людской памяти.
Ведь все, что требуется от героя, это исполнить волю толпы и Господа.
Слиться воедино с каменной стеной.
Превратиться в неприступную силу.
И вот сейчас это произойдет.
Человеческая слабость торжествует.

Нежданно-негаданно и у нее появился плебейский шанс почувствовать вкус победы.
Время зависает над крепостью.
Зависает, чтобы начать обратный отсчет.
В конце парадно-похоронного представления спасителя оставляют наедине с собой.
Слабеющая поступь перед провалом в небытие.
Считанные глотки безгреховного горного воздуха перед мучительной смертью.
Хотя и с верой на встречу с Богом.
Никто не сомневается, что отныне одним ангелом на небесах станет больше.
А крепости, несмотря на предчувствия, суждено будет выстоять и в этот набег.
Но это произойдет потом.
В послесловии к повести.
Сейчас же толпа прощается с избранной ею жертвой тихими слезами.
Юные глаза в последний раз смотрят, но уже ничего не видят.
Юное сердце из последних сил барахтается и уже ничего не чувствует.
Все молятся за своего спасителя, шепотом желают ему скорой смерти.
Кто из сострадания.
Кто от отчаяния.
А кто-то просто будучи в плену собственной природной трусости.
Сотворенный на земле ангел тоже молится.
Но уже не понимает ни своих слов, ни того, что происходит вокруг.
И лишь после каждого шага, останавливаясь, размашисто вскидывает руки вверх, будто приветствует новых неземных братьев.
В ответ небо разливается солнцем.
Небо открывает врата.
Наутро чудо действительно свершилось.
Враг выдохся.
И отступил.
Стена не рухнула.
А значит, и цена тому оказалась оправданной.
Такова магия ортодоксального чудотворства.
Свирепая.
Показная.
Неотвратимая.
Языческая по сути.

Хотя и христианская по своим святым образам, плачам и молитвам.
Пасть ниц перед Богом на краю гибели.
Принести себе подобного в жертву во имя собственного спасения.
За что только не цепляется человеческое бессилие в приступе страха.
И даже убийство невинного нередко возносится в ранг великого блага.
P. S.
Впрочем, любопытствующих потомков такой сюжет вряд ли разжалобит.
Для них это не более чем занимательная трехстраничная story.
Об одном горском юноше.
Об одном герое.
Об одном маленьком народе.
ПРОШЛОЕ – ВНЕ КОНТЕКСТА.
ПРОШЛОЕ – ВСЕГДА В ОДИНОЧЕСТВЕ.

Дерево

Олово плавится.
Олово растекается густыми безмолвными ручьями.
Заливая раскаленным холодным цветом не только сознание, но и пространство.
Все вокруг лишено земного правдоподобия.
Все словно зависло в безвременье.
И сколько ни оглядывайся по сторонам, ничем этот вакуум не опровергнуть.
Ни единого живого существа.
Если не считать моего случайного здесь появления.
Ни единого звука.
Если не обращать внимания на едва слышную аритмию собственного сердца.
Которая каждым нерадивым толчком напоминает скорее финальные аккорды земного реквиема.
Я хочу сдвинуться с места.
Хочу сдвинуться с мертвой точки, чтобы хоть чуть-чуть оживить обстановку.
Но не могу.
Потому что не могу понять, сон это или явь.
Война или мир.
Свобода или плен.
Символизм в первозданном виде.
Экзистенциализм – в зачаточном.

При созерцании столь безнадежной картины трудно не удариться в философию и не задуматься о суицидальной сущности бытия.
Хотя, на первый дилетантский взгляд, все смотрится довольно постановочно и театрально.
А вот заядлого натуралиста Дарвина здесь вряд ли нашлось бы, чем заинтриговать.
В какую-то секунду я вспоминаю, что похожий пейзаж после битвы я уже встречал.
За тысячи миль отсюда.
В одной из гуггенхаймовских коллекций.
Олово – вместо солнца.
Туман и гарь – вместо неба.
Только вот на сей раз я ощущаю себя частью этого прискорбного творения.
Провидение.
Судьба подобна художнику-авангардисту.
При этом бедность палитры совсем не означает скудости впечатлений.
Я не сопротивляюсь.
И замечаю, как постепенно сам растворяюсь в мутном окружающем ландшафте.
Превращаюсь в серость.
В оловянность.
Остаюсь наедине с мыслями.
Которые злыми мурашками конвульсивно расползаются по моему телу.
И от которых мне становится нестерпимо душно.
О глотке воды можно только мечтать.
Так же, как и о глотке свежего воздуха.
С трудом преодолев первые несколько метров и маневрируя между вяло ползущими ручьями, я бреду по разбитой пыльной дороге в надежде отыскать пусть что-то, напоминающее о живых людях.
Я в поиске себе подобных.
Мне кажется, что последний бой отгремел тут совсем недавно, но в еще не остывшей от страстей долине уже не видно даже мертвых.
Неужели все тут же вознеслось в рай?
В награду за ненависть к неверным.
Даже капли крови не сыскать.
Испарилась.
Будто ее и не было.
Как не было пронзительной боли.
Воплей.
Ужаса последнего мгновения.

Сколько оловянных солдат-солдатиков полегло на склонах выжженных холмов, одному Богу известно. Потому что никто, кроме Него, не считал ни своих, ни чужих.

И хотя рано или поздно вездесущие цифры заполнят и этот пробел истории, они все равно будут означать лишь бездушную приблизительность.

О войне бессмысленно писать отчеты.

Войну невозможно передать красками или словами.

Войну надо воспринимать с натуры.

Один на один.

С ее светом и тенью.

С ее бездушной эстетикой.

Чтобы во всех нюансах понять, чем же смерть отличается от искусства.

Вглядываясь в расплывчатую даль, я окончательно в этом убеждаюсь.

На уровне первобытной интуиции.

Что случилось со всеми, кто носил военную форму, я догадываюсь, но куда исчезли другие – даже вообразить не могу.

Вроде бы все самое страшное миновало.

Живых солдат не осталось, убивать некому.

Пора б уже выбираться из укрытий.

Но сколько я ни иду, навстречу никто не попадается.

Ни человек.

Ни зверь.

Беззвучие поглотило всех.

Наказав за войну.

И жизнь, видимо, еще не скоро вернется в эту некогда солнечную долину.

Я – как на необитаемой планете.

В немыслимом триллере.

Туман и гарь то сгущаются практически до черноты, то слегка рассеиваются.

И в момент короткого, почти мистического просветления на уродливых ветках одинокого обгоревшего дерева я вижу несколько листьев.

Оловянных.

Да, по форме и даже рисунку напоминающих настоящие, однако сомневаюсь, что в ближайшую тысячу лет они вдруг зазеленеют.

Хлорофилл, как и кровь, испарился.

Значит, и шелеста деревьев здесь не услышать еще очень и очень долго.

Только тишина способна пренебречь временем.

Только у тишины размах под стать вечности.